

Константин Станюкович

История одной жизни



Константин Станюкович
История одной жизни

«Public Domain»

1895

Станюкович К. М.

История одной жизни / К. М. Станюкович — «Public Domain»,
1895

Содержание

I	6
II	12
III	14
IV	18
V	19
VI	21
VII	24
VIII	27
IX	32
X	35
XI	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

I

Мрачный осенний петербургский день с пронизывающим до костей холодным северным ветром близился к концу. Отливая от центральных частей города, пешеходы, угрюмые и голодные, торопились по домам.

В это время к углу Невского и Лиговки приковылял, имея на плечах ларек, маленький мальчуган в большом измызганном картузе, нахлобученном на уши.

Окинув быстрым и зорким взглядом местность и главным образом местопребывание «фараона», то есть городского, маленький человек опустил ларек у тротуара в нескольких шагах от Невского и стал выкрикивать звучным тоненьким голосом в упор проходящим по Лиговке:

– Спички, да хорошие! Бумаги и конвертов! Не пожелаете ли, господин?

Засунув покрасневшие от холода руки в карманы, мальчик то и дело подпрыгивал и ежился, так как костюм его был далеко не по сезону. Довольно жидкое порыжелое пальто неопределенного цвета, сидевшее мешком и, очевидно, шитое на человека более зрелого возраста, и тонкие летние панталоны соответствовали скорей итальянскому климату, чем этой подлой, «собачьей» петербургской погоде. Высокие намокшие сапоги, тоже предназначавшиеся, по-видимому, на более крупные ноги, требовали по меньшей мере основательной починки. Едва ли не самую лучшей частью костюма был вязаный шарф, обмотанный вокруг шеи и скрывавший от нескромных глаз рваную ситцевую рубашу и нечто вроде жилета.

– Купите, господин! Поддержите коммерцию!

Голос мальчугана выкрикивал все ленивее и безнадежнее. Казалось, он и сам понимал, что ни один из этих торопившихся прохожих в такую погоду не остановится, чтобы поддержать отечественную коммерцию. И если он все еще предлагал и спички, и бумагу, и конверты, то более для очистки своей торговой совести и, главное, из страха иметь недоразумения с одним человеком, которого он называл «дяденькой», не чувствуя, впрочем, к нему никаких родственных чувств.

Мальчик не ошибался в своих предположениях. Действительно, ни одна душа не откликнулась на его призыв. Всякий спешил в теплую квартиру, думая об обеде, а не о письменных принадлежностях. Никто даже и не взглянул на этого вздрагивающего мальчугана в уродливом картузе и не слышал тоскливой нотки, звучавшей в этих назойливых предложениях поддержать коммерцию.

Но вдруг в глазах мальчика блеснула надежда.

Он увидел солидного плотного господина в отличном теплом пальто и с цилиндром на голове под руку с молодой и хорошенькой барыней. Несмотря на отвратительную погоду, господин вел свою даму не спеша и, наклонив к ней голову, о чем-то говорил ей с самым умильным выражением на своем полноватом и не особенно моложавом лице.

Опыт недолгой, но уже богатой уличными наблюдениями жизни маленького человека привел уже давно его к выводу, что господин, гуляющий под руку с молоденькой барыней и разговаривающий с ней, чересчур близко наклонившись к ее уху, – несравненно отзывчивее, и добрее, и охотнее поддерживает коммерцию, чем господин, идущий одиноко или с дамой некрасивой, или преклонного возраста.

Все эти соображения заставили мальчика предположить, что письменные принадлежности крайне необходимы господину, и он, еще не зная, что нет правил без исключений, торопливо вынул из ларька пачку бумаги и конвертов, подбежал к проходившей паре и крикнул, протягивая пачку:

– Милый барин! Купите у бедного мальчика! Поддержите коммерцию.

Молодая женщина вздрогнула от этого неожиданного окрика, а господин гневно произнес, хватая за руку мальчика:

– Ты как смеешь приставать, негодяй, а? Вот я сейчас кликну городского!

Мальчуган рванулся из рук господина и побежал к ларьку, испуганный и несколько изумленный таким неожиданным оборотом дела. Он успокоился только тогда, когда господин с дамой продолжали свой путь и скрылись, после чего не отказал себе в маленьком удовольствии – погрозить им вслед кулаком и затем пустить вдогонку:

– Тоже... городской!.. Сволочь!

Прошло еще минут десять. Мальчику становилось очень зябко, и он собирался было сняться с места и закончить на сегодняшний день торговлю, как внимание его привлекла дама в глубоком трауре, шедшая опустив голову.

Обязательно следовало сделать еще попытку. Вид этой барыни подавал некоторую надежду.

И он проговорил самым трогательным голосом, владеть которым приучила его недавняя профессия нищенки:

– Милая барыня! Купите бумаги... Дешево отдам... Пятачок две тетрадки!

Барыня подняла голову и взглянула на мальчика. Его бледное, посиневшее от холода лицо, худое, с тонкими, красивыми чертами и с бойкими, бегающими, как у мышонка, карими глазами, тотчас приняло притворно жалобное выражение.

– Купите, милая барыня...

Тень грусти омрачила лицо дамы в трауре, точно при виде этого худенького, болезненного мальчугана она вспомнила кого-то...

Она остановилась, торопливо вынула портмоне и протянула мальчику двугривенный.

– Пятнадцать копеек сдачи... Извольте получить бумагу... Бумага первый сорт! – говорил мальчик значительно повеселевшим и уже деловым тоном человека, совершившего выгодное дельце.

– Сдачи не надо, и бумагу себе оставь, мальчик, – промолвила дама.

– Не надо? – изумился мальчик.

И, зажав в кулачке монетку, он горячо и торопливо проговорил:

– Дай вам бог здоровья, милая барыня!

– А ты, мальчик, шел бы домой... Холодно.

– И то зябко... Сейчас иду...

– Сколько тебе лет?

– Пятнадцатый...

– Пятнадцатый год, и такой маленький? А как зовут?

– Антошкой...

– Ты у кого живешь?

– У дяденьки...

– Ты, Антоша, приходи ко мне как-нибудь... Я тебе дам платья...

И дама в трауре сказала свой адрес и фамилию, ласково кивнула головой и ушла.

Антошка несколько мгновений стоял с разинутым ртом. Житейский опыт не очень-то баловал его людским сочувствием и не располагал к оптимизму. И обещание платья и, главное, такая щедрая подачка, признаться, значительно удивили его.

Прежде, еще недавно, когда он «работал» на петербургских улицах в качестве «бедного сиротки», гонявшегося за прохожими с жалобными причитаниями дать копеечку, и затем в роли мальчика, которому не хватает двугривенного на покупку билета до Твери или до Пскова (смотря по вокзалу, у которого Антошка стоял), или в роли только что выписавшегося из больницы, – случалось, хотя редко, что ему и попадали двугривенные от сердобольных людей, но с тех пор как он стал ходить с ларьком и продавать спички, бумагу и конверты, ни одна душа не

принимала в соображение его собственных нужд, и каждый старался купить и спички и бумагу дешевле, чем где бы то ни было, точно считая, что дать мальчику с ларьком лишнюю копейку – значит потакать грабежу.

Вероятно, подобными житейскими наблюдениями следовало объяснить и то, что в сердце Антошки после первых мгновений радости закралось вдруг подозрение насчет доброкачественности двугривенного.

И он с серьезным, деловым видом опытного человека, умеющего отличить олово от серебра, взял монетку в зубы и несколько раз куснул ее. Испытание на мелких острых зубах и затем металлический ее звон на камне мостовой убедили мальчика, что монетка не фальшивая. Тогда он с удовлетворенным и довольным видом опустил ее не в кожаный кошель, в котором хранилась выручка сегодняшнего дня, а в карман штанов, решив, что, по всей справедливости, о которой он имел понятие, двугривенный принадлежит ему одному и что, следовательно, отдавать его «этому дьяволу», как он мысленно называл «дяденьку», было бы величайшей глупостью.

Вслед за тем он достал карандаш и свою записную книжку, служившую ему в то же время и учебной тетрадью, в которой он списывал, учась самоучкой, названия вывесок, после того как мог уже списать фамилии спичечного и бумажного фабрикантов, изделиями которых торговал, – и не без некоторого напряжения и больших гримас вывел каракулями, смутно напомилавшими печатные буквы: «Гаспажа Скварцова, Сергифская, Э 15».

Ларек тщательно был накрыт клеенкой. Оставалось вскинуть его на плечи и идти на Пески, на постылую квартиру «дяденьки», предварительно умненько распорядившись с двугривенным, как над самым его ухом раздался чей-то сиплый и приятный басок:

– Здравствуй, Антошка!

Антошка радостно и весело улыбнулся, увидев перед собой довольно странную фигуру пожилого человека с испитым и изможденным лицом, сохранявшим, несмотря на резкие морщины и припухлость век, еще остатки выдающейся красоты, – с большой и сильно заседевшей черной бородой, тщательно расчесанной, и с глубоко сидящими в темных впадинах черными глазами, глядевшими с выражением угрюмой, спокойной и вместе с тем какой-то презрительной грусти, какое бывает у опустившихся, когда-то знавших лучшие времена людей. В этих глазах светилось теперь что-то бесконечно ласковое.

Одет этот господин был в невозможно ветхое и совсем лоснившееся пальто, но, видимо, с претензией на аккуратность и некоторое щегольство: пуговицы были целы, и нигде не видно было дыр, хотя заплаток было довольно. Панталоны были в таком же роде. Серое кашне скрывало ночную сорочку, рукава которой, видневшиеся на худых волосатых руках, были не особенно грязны. На маленьких ногах были стоптанные резиновые калоши, а на руках – изящной формы, с длинными пальцами – лайковые заношенные и заштопанные перчатки. Совсем поржелый цилиндр был одет чуть-чуть набекрень, а из-под него выбивались седоватые кудри. Несмотря на этот почти нищенский костюм, в осанке и манерах этого господина сразу чувствовался барин.

– Здравствуйте, граф...

Под кличкой «граф» этот господин был известен в числе многих обитателей трущоб и Антошке, который познакомился с ним год тому назад, нищенствуя у вокзалов; он несколько раз исполнял поручения «графа» по доставлению писем в разные богатые квартиры и пользовался его благосклонностью. «Граф» был единственным в мире человеком, который всегда дружески и участливо относился к Антошке, платил ему за комиссии, если Антошка приносил благоприятные ответы, дарил леденцы и, случалось, зазывал к себе в «лавру»¹, где жил в угле, угощал чаем и вел с ним беседы довольно своеобразного философского характера.

¹ ...зазывал к себе в «лавру»... – Речь идет о так называемой Вяземской лавре, подворье, где ютилась петербургская

- Ты это что?.. С ларьком нынче?.. Давно?..
- С лета, граф...
- Лучше, чем прежняя работа, а?
- Лучше... И фараонов не так опасешься... Показал жестянку, и шабаш!
- А как дела! Хорошо торгуешь?
- Плохо, граф... Летом еще ничего, а теперь... Главное, погода! Вот спасибо одной барыне... Добрая... Целый двугривенный подарила...
- Ишь какая добрая! – иронически протянул «граф».
- И бумаги не взяла... И велела прийти к себе за платьем... А я двугривенный «дяденьке» не отдам... Как, по-вашему, граф? Отдавать?
- Никоим образом. Он твой! – категорически заявил «граф» и прибавил: – А ты, братец, скажи своему подлецу «дяденьке», чтобы дал тебе обмундировку потеплей, а то в чем, скотина, выпускает! Скажи ему, что генерал Езопов – запомни фамилию! – тебя остановил и расспрашивал, какой такой подлец хозяин, что посылает мальчика в таком виде... Понял?
- Понял... скажу... А если спросит: какой из себя генерал?
- Скажи: сердитый такой, с большими глазами... Усищи длинные-предлинные! – улыбаясь, объяснял «граф».
- Беспременно скажу, – радостно промолвил Антошка.
- Что твой дяденька-мерзавец... По-прежнему тебя бьет? – участливо спрашивал «граф».
- Теперь полегче... Маленьких шибко бьет. Ремнем больше, черт! А, главное, она – настоящая ведьма!
- Уйти тебе от них надо, вот что...
- Никак нельзя... Он говорит, что я ему проданный по бумаге... И, кроме того, племянник... Везде, говорит, тебя разыщут...
- Глупый! Нонче людей не продают... И какой ты ему племянник? Он все врет... Однако иди, иди, Антошка... Замерзнешь... Ишь погода! – проговорил «граф», сам пожимаясь от холода. – Да завтра же зайти ко мне, слышишь?..
- А где вы теперь живете? Я в «лавре» был... Там вас не оказалось.
- В больнице три месяца лежал и, видишь, отлежался! Теперь я не в «лавре» живу, а у Бердова моста, дом сто четыре, во втором дворе, у прачки... Запомни адрес. Да спрашивай не графа...
- Не графа? – удивился Антошка.
- То-то не графа! – усмехнулся «граф», – а Опольева, Александра Ивановича Опольева. Не забудешь?
- Не забуду... А то записать разве?
- Уж и писать выучился? Ай да умница!.. Только векселей не пиши! – вставил «граф» с грустной улыбкой... – Я тебе когда-нибудь объясню, что такое вексель... Постой... у тебя руки как у гуся... Давай карандаш...
- Он записал адрес и фамилию и, отдавая листок мальчику, сказал:
- Смотри же, завтра приходи... Я тебя угощу и побеседуем, как тебе от твоего разбойника уйти... Только ему ни слова... До свидания, Антошка!
- С этими словами «граф» как-то важно приподнял голову, слегка выпятил грудь и скоро скрылся в полутьме сумерек, а Антошка, вскинув на плечи ларец, бодро зашагал на Пески, весьма довольный и встречей с «графом» и двугривенным, столь неожиданно попавшим в его карман и позволившим ему побаловать себя роскошным обедом.

Зайдя в закусочную, он спросил себе порцию селянки, запил ее двумя стаканами горячего чая и затем забежал в мелочную лавочку и на пятак спросил леденцов. Засунув себе в рот сразу штуки четыре, Антошка остальные бережно завернул в бумагу и, спрятав их за голенище, вышел из лавки.

После такого лукулловского пиршества ² Антошка почувствовал себя и счастливее, и бодрее, и совсем не думал о жидких, пустых щах у «дяденьки». Эти щи и вообще-то не прельщали его – до того они были водянисты и мало насыщали, а теперь, вспомнив о них, он даже сделал гримасу.

Слова «графа» о том, что Антошка «не проданный», значительно подняли его дух, и он продолжал свой путь, мечтая о том времени, когда он будет сам от себя продавать и спички, и бумаги, и конверты, и разные другие вещи, купит себе сапоги и полушубок и не будет жить у «дьявола дяденьки». В этих ребячьих мечтах заброшенного, несчастного мальчика, никогда не знавшего нежной ласки, не знавшего ни матери, ни отца, не забыты были и «граф» и маленькая Нютка, его любимица, жившая, как и он, у «дяденьки». Что же касается нелюбимых людей, то Антошка не без злобного чувства мечтал о возмездии. Хорошо было бы «дяденьку» засадить в тюрьму на вечные времена, а «ведьму»... Он придумывал ей разные беды и в конце концов решил, что было бы недурно, если б ее переехала конка и она бы издохла.

Однако, когда Антошка вошел в ворота знакомого деревянного дома на окраине Песков и поднимался по темной вонючей лестнице в «дяденькину» квартиру, его охватило невольное, знакомое еще с детства, чувство робкого страха, и ему представлялась пьяная физиономия «дяденьки» с ремнем в руках и рядом «ведьма», подзадоривающая его своим подлым смехом.

Счастливые мечты сразу выскочили из головы Антошки, и он, удрученный, с чувством узника, возвращающегося в тюрьму с жестокими тюремщиками, вошел в незапертые двери темной прихожей, робко пробрался мимо кухни и очутился в крошечной комнатке, в которой помещались все мифические «племянники» и «племянницы», работавшие на «дяденьку» в качестве уличных нищенок.

Посредине этой грязной, низкой и сырой комнаты, освещавшейся тусклым светом стеной лампы, стояли небольшой стол и две скамейки, на которых была разбросана разная мокрая рвань, отдававшая запахом гнили. Это было верхнее платье «пансионеров», разложенное для просушки. Никакой другой мебели не было. На этом же столе среди вещей стояла деревянная чашка, из которой жадно хлебал холодный суп белокурый мальчик лет восьми. Остальные обитатели, уже вернувшиеся с работы, сдавшие свои выручки «дяденьке» и поужинавшие, лежали на полу, на тощих матрасиках, рядом, вповалку, прикрытые какою-то старой ветошью и согреваясь более теплотой собственных тел. Маленькие соломенные подушки поддерживали детские головы.

Почти все дети спали, вдыхая в себя смертоносный воздух.

Антошка снял с себя ларец, затем разулся, сунув под свой матрасик сверток с леденцами, надел какие-то дырявые башмаки и хотел было снимать свое намокшее пальтецо, как вдруг из-за стены донесся жалобный детский вопль, заглушаемый пьяным грубым мужским голосом.

– Это Нютку! – шепотом проговорил белокурый мальчик.

– За что? – отрывисто спросил Антошка.

– Всего два пятака принесла...

– Ишь... подлые!.. – шепнул Антошка, и в его глазах сверкнул огонек.

Через минуту в комнату вбежала с плачем маленькая, совсем худенькая девочка с черными растрепавшимися волосенками и, увидев Антошку, проговорила прерывающимся от рыданий голосом:

² Лукулловское пиршество. – Выражение происходит от имени римского политического деятеля и полководца Лукулла (ок. 117–56 до н.э.); устраиваемые им пиры и празднества отличались чрезмерной роскошью.

– Ан-тош-ка... У-бей бо-г нап-расно. Я гро-ши-ка не утаила...

И, понижая голос, прибавила:

– Он бы прос-ти-л, а она... тварь под-лая...

– Он чем тебя, ремнем или руками? – осведомился довольно объективно белокурый мальчик, засовывая в рот последний кусок черного хлеба.

– Рем-нем... Пять раз... Больно... Ах, больно, голубчики!

Антошка проговорил с важным видом:

– Подожди, Анютка... Мы на этих дьяволов управу найдем... Най-дем! – прибавил он, вспоминая вдруг слова графа. – Мы не проданные... Не реви, Анютка...

И с этими словами он достал сверток и подал его Нютке.

– На вот, ешь... только дай два леденца Алешке... Больше не давай... Ешь.

Нютка сквозь слезы улыбнулась и набросилась на леденцы с жадностью дикого зверька.

В эту минуту двери бесшумно отворились, и на пороге показалась высокая худая молодая женщина в юбке, в сером платке на голове, из-под которого выбивались пряди рыжих волос.

Она вошла тихо, подкравшись, как кошка.

Антошка первый заметил «ведьму» и кинул выразительный взгляд, предостерегающий об опасности, на своих маленьких товарищей.

Нютка немедленно зажала в своей грязной ручонке оставшиеся леденцы, проглотив, не без риска подавиться, бывшие у нее во рту, и с выражением испуга на своем заплаканном лице бросилась к постели и легла, притихшая и оробевшая, словно виноватая собачонка.

Алешка, успевший съесть свои два леденчика в мгновение ока и глядевший в рот девочки с чувством зависти и очарования, побрел к своему матрасу с видом человека, не имеющего достаточных оснований опасаться трепки.

Между тем рыжая женщина, успевшая подслушать слова Антошки, подозрительно оглядела комнату и, заметив валяющуюся на полу серую бумажку из-под леденцов, подняла ее с полу и, обращаясь к Антошке, проговорила своим резким, низким контральтовым голосом:

– Ты что ж это, подлец, не идешь сдавать выручку? До каких пор ждать тебя, мазурика?

«Ведьма» любила вообще уснащать свои речи бранью, но особенно в сношениях с Антошкой, которого терпеть не могла больше, чем остальных детей этого заведения своего супруга, так как чувствовала, что Антошка, несмотря на свою видимую покорность, является, так сказать, протестующим элементом и, кроме того, как-то подозрительно и насмешливо улыбается, когда «ведьма» посылает его за сорокоушкой, чтоб угостить гостя – молодого наборщика, захаживавшего по вечерам и по большей части в отсутствие мужа.

– Иду сейчас... Только что пришел! – Разуться надо... Измок... – отвечал не особенно мягко Антошка.

– Измок! Ишь какой сахарный господин! – презрительно и медленно выговаривая слова, кинула рыжая дама, и злая улыбка искривила ее тонкие губы.

С этими словами она вышла, бросив на Антошку взгляд больших, несколько выкаченных серых глаз, не предвещавший ничего хорошего для Антошки.

В свою очередь и Антошка, ненавидевший «ведьму» с бессильной злобой загнанного волчонка, посмотрел ей вслед злыми-презлыми глазами и снова от всего сердца пожелал, чтобы «подлую» переехала конка.

– Что, Нютка, шибко пьян хозяин? – осведомился он.

– Не очень, – ответила Нютка.

Антошка через минуту вышел – сдавать «дяденьке» выручку.

Признаться, он шел далеко не спокойный, и мрачные предчувствия невольно закрадывались в его душу относительно ремня.

II

«Дяденька», отставной унтер-офицер Иван Захарович, сидел в одном жилете поверх розовой ситцевой рубахи за столом, на котором шумел самовар, в жарко натопленной, довольно большой комнате, разделенной ситцевым пологом, за которым помешались большая кровать и шкаф с посудой. Цветы на окнах, наклеенные на стенах вырезанные из иллюстрации картинки и портреты нескольких генералов и отца Иоанна Кронштадтского ³ свидетельствовали о некотором эстетическом вкусе хозяев. Кое-какая мебель и огромный шкаф, в котором хранился разный хлам, купленный на рынке и составлявший запасный гардероб питомцев «дяденьки», дополнял убранство, не лишенное некоторого комфорта, особенно по сравнению с конурой, где помешалась детская команда.

Сам «дяденька» медленно отхлебывал чай, попыхивая папироской, и, казалось, находился в благодушном относительно настроении довольного своею судьбой человека. Он был выпивши, но еще не дошел до «градуса», – это еще было впереди – и его спокойный вид нисколько не напоминал человека, только что жестоко отхлеставшего ремнем, опоясывавшим его чресла, маленькую беззащитную девочку.

Это был плотный и крепкий человек лет за сорок, с грубым, так называемым «солдатским» лицом. Красное, одутловатое, испещренное рябинами, с толстым носом и толстыми губами, окаймленное черными баками и окладистой бородой, оно далеко не отличалось привлекательностью. Маленькие, заплывшие и плутовские глаза светились масляным блеском. В них было что-то хищное и выдавало прожженную каналью, прошедшую житейские «медные трубы».

Действительно, Иван Захарович перепробовал много профессий после того, как вышел в отставку.

Он был швейцаром, сидельцем в кабаке, рассыльным, но не уживался на местах, имея слабость и к вину, и к картам, и к прекрасному полу, – слабость, заставлявшую его не всегда быть особенно разборчивым, если ему поручали деньги. Он их частенько таки терял и, вероятно, благодаря только своей счастливой звезде не попал в сибирские Палестины.

Долго он влачил полунищенское состояние: торговал на рынке старым платьем, ходил в факельщиках, носил шарманку, сопровождая «Петрушку», и не оставлял сладкой надежды выбиться и жить «как люди», не обременяя себя праведными трудами. И, наконец, напал на счастливую мысль – открыть «заведение» для детей.

Осуществление этой идеи не потребовало особенных затрат. Хорошо знакомый с трущобами, он знал, что в Петербурге детского товара сколько угодно, и при известной осторожности предприятие его не представляло большого риска.

И Иван Захарович «арендовал» несколько беспризорных и заброшенных детей у нищих их родственников, обещая содержать детей и вдобавок еще платить за это известную сумму денег. Антошку, впрочем, Иван Захарович приобрел почти задаром у одной пьянчужки-вдовы у которой ребенок очутился на руках после смерти его матери-прачки.

Дела Ивана Захаровича сразу пошли хорошо. Маленькие нищенки ежедневно приносили ему изрядную выручку, и он держал их в ежовых рукавицах, строго наказывая, если они приносили, по его мнению, мало. Справедливость требует, однако, сказать, что до женитьбы Ивана Захаровича положение детей было сноснее: их и кормили лучше, и Иван Захарович бил их только тогда, когда был очень пьян уже к вечеру, когда он возвращался из трактира, а дети с

³ Иоанн Кронштадтский (И.И.Сергиев, 1829–1908) – протонерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, церковный проповедник, влиятельный в правящих верхах России.

«работы». Жившая при нем в качестве помощницы корявая Агафья жалела детей и часто их защищала.

На беду Иван Захарович влюбился в рыжую, худую Марью, встреченную им в трактире, который он посещал и где он за стаканчиком водки нередко беседовал с приказчиком о политике и вообще вел отвлеченные разговоры, до которых был охотник. Трудно сказать, чем привлекла Ивана Захаровича эта девица: своими ли выкаченными наглыми глазами, умением ли ругаться хуже извозчика, белым ли, покрытым веснушками лицом, не потерявшим еще свежести молодости, но только Иван Захарович окончательно «втюрился» и очень скоро женился.

С тех пор как водворилась Марья Петровна, положение детей стало воистину ужасным.

Дети прозвали новую хозяйку ведьмой и боялись ее больше «дяденьки», понимая, что она главная виновница тех жестоких побоев и истязаний, каким они теперь подвергались.

Раздирающие вопли и стоны раздавались в квартире почти каждый вечер при возвращении озябших и продрогших детей с «работы». «Ведьма» находила, что они мало приносят выручки, что они обкрадывают «дяденьку», и с какой-то холодной жестокостью натравливала супруга на детей.

И, несмотря на разные благотворительные общества, существующие в Петербурге, несмотря на множество блестящих дам-благотворительниц, никто не слышал этих детских стонов, никто не приходил на помощь обреченным страдальцам.

III

– Много принес? – спросил Иван Захарович, увидав вошедшего в комнату Антошку.
– Немного, – отвечал Антошка, приближаясь к столу.
– А по какой такой причине? – строго спросил «дяденька», останавливая взгляд на мальчике.

– Погода...

– Что погода!? Ты, верно, подлец, по трактирам сидел, а?

– И вовсе не сидел...

– Ну, давай... выкладывай...

Антошка высыпал деньги из кошелька.

Было всего тридцать копеек.

– Только и всего?

– Только... Совсем покупателей нет... И меня даже один генерал остановил, – вдруг прибавил Антошка, вспомнив совет «графа» и имея в виду не столько припугнуть «дяденьку», сколько отвлечь его внимание от щекотливого разговора насчет выручки.

– Какой такой генерал?

– Важный, должно быть. Такой высокий и с большими усами... И сердитый... Остановил это он меня у Гостиного двора и спрашивает: «По какой причине ты, мальчик, шляешься по улицам в таком рваном пальте?.. Это, говорит, не полагается, чтобы по такой холодной погоде и без теплой одежды... Кто, говорит, тебя посылает? Сказывай, где ты живешь?»

Не лишенный, как оказывалось, некоторого художественного воображения, Антошка врал блистательным образом и не моргнувши глазом, испытывая в то же время внутреннее злорадство при виде беспокойного выражения на лице «дьявола».

– Что ж ты сказал этому генералу? – не без тревоги в голосе нетерпеливо спросил Иван Захарович.

– Живу, мол, ваше сиятельство, у родного дяденьки... А квартируем мы...

– Что-оо?.. Разве я вам, подлецам, не приказывал никогда не говорить, где вы живете!.. – перебил, закипая гневом, Иван Захарович. – Знаешь ли, что я за это сделаю с тобой, с мерзавцем?..

Иван Захарович проговорил последние слова таким зловещим тоном, и его лицо исказилось такой злостью, что Антошка невольно попятился и поспешил проговорить:

– Да я, дяденька, не сказал ему настоящего адреса... Я совсем другой дал... На Острове, мол, квартируем, в пятнадцатой линии... Пусть ищет...

– То-то! – облегченно промолвил Иван Захарович. – А то бы тебя до смерти избил... Так бы и издох... Ты это помни... А теперь я скажу, что ты молодец, Антошка... Всегда так отвечай... Какое кому дело, где мы живем? – прибавил Иван Захарович, окончательно успокоенный, и даже взглянул одобрительно на Антошку, как на достойного своего ученика, ловкого и смышленного, пославшего генерала на Васильевский остров... «Прогуляйся, мол!»

И после незначительной паузы проговорил:

– А я тебе, Антошка, завтра другое пальтецо подберу... форменное пальтецо... на байковой подкладке... у татарина купил... И фуфайку дам... Я, братец, старательных ценю... И ты цени... Старайся для дяденьки... Помни, что я тебя вскормил и воспитал... Без меня пропал бы ты, как паршивый щенок у забора, а я вот тебя человеком сделал... Да... Какой человек ежели неблагодарный, того бог накажет. Ты этого не забывай, Антошка! – философствовал Иван Захарович. – И выручки правильные носи! – неожиданно перешел он на вопрос чисто практического характера. – А то – тридцать копеек! За это, по-настоящему, следовало бы тебя наказать, но я прощаю... Чувствуешь ты это?

Хотя Антошка и после этой трогательной речи не переставал питать к «дяденьке» далеко не дружелюбные чувства и сию минуту засадил бы его на вечные времена в острог, тем не менее выразить этого не посмел и довольно-таки недурно, с точки зрения декламаторского искусства, проговорил, благоразумно опуская свои мышинные карие глазенки, которые могли бы его выдать:

– Я всегда чувствую, дяденька...

– То-то, чувствуй...

Антошка со свойственным его возрасту легкомыслием уже считал себя вполне обеспеченным, по крайней мере на этот вечер, от ненавистного ремня. Слишком увлеченный столь благоприятными результатами от своей встречи с генералом, он хотел было отважиться еще на одну подробность генеральской беседы, а именно сказать, что генерал приказал ему продавать спички, бумаги и конверты не иначе как в полушубке и в крепких сапогах, как в эту самую минуту из-за полога показалась «ведьма», уже без платка на голове, с причесанными не без кокетства рыжими волосами, взбитыми на лбу, в голубой ситцевой кофточке и с вымытыми руками.

Повиливая бедрами, она подошла к столу и, присаживаясь у самовара, проговорила самым любезным и вкрадчивым тоном:

– Наливать, что ли, еще, Иван Захарыч?

– Налей, Машенька, – отвечал Иван Захарович, передавая стакан и с нежностью взглядывая на эту белолицую, всю в веснушках молодую женщину лет двадцати пяти, с вздернутым кверху курносый носом, выкаченными серыми наглыми глазами и тонкими губами.

Взглянул исподлбья на нее и Антошка, очевидно совсем не разделявший взглядов «дяденьки» на красоту его супруги. Он находил, что отвратительнее этой «курносой ведьмы» не было существа на свете. И худа-то она, ровно ободранная кошка, и на ее «подлой морде» черти отметины сделали в виде веснушек, и руки у нее в виде «крючков», и нос дырявый... одним словом, как есть настоящая ведьма!

Он сообразил отлично, для кого это она принарядилась, и только удивлялся «дяденьке», как это он совсем ею «облещен» и слушается ее, вместо того чтобы таскать ее за косы и бить поленом каждый день, а не в исключительных только случаях, когда он, совсем пьяный, случалось-таки, таскал за косы, но все-таки, глупый, ни разу не отдубасил поленом...

Антошка дипломатически кашлянул, чтоб получить разрешение уйти (присутствие «ведьмы» вместе с воспоминанием о поднятой ею бумажке из-под леденцов наводило его на тревожные мысли) и закатиться спать, и Иван Захарович хотел было отпустить его, как «ведьма» вдруг хихикнула и насмешливо проговорила, кивнув головой на Антошку:

– И ты, Иван Захарыч, веришь этому подлому мазурику? Ах, какой же ты, Ваня, простой... Ах, какой простой...

Обвинить Ивана Захаровича в простоте значило задеть самую чувствительную струну его мошеннической души. Он, как и все прожженные плуты, именно гордился тем, что проведет каждого, и потому предположение жены, что его мог оболванить мальчишка, показалось ему слишком обидным, и он произнес:

– В каких это смыслах понять, Машенька?..

– Мало ли чего он набрешет, а ты по доброте своей и веришь... Какой генерал станет с ним разговаривать, и кому нужно узнавать, где живет этот змееныш... Я за ним слежу... Знаю, как он бесстыж врать... Все-то он тебе набрехал, Иван Захарыч...

– И вовсе не набрехал, Марья Петровна... Хучь сейчас под присягу, что генерал со мной говорил... И фамилию свою даже объявил: я, говорит, генерал Езопов, – с энергией отчаяния произнес Антошка, имея, впрочем, о присяге довольно смутные понятия.

Надо полагать, что и относительно всеведения господ бога Антошка имел далеко не точные представления или же полагал, что господь милосердно терпит вранье несчастных маль-

чиков, спасающих свою шкуру от толстых ременных поясов, потому что нисколько не затруднился в доказательство действительности встречи с генералом прибавить:

– Как перед истинным богом говорю... Пусть разразит меня на этом месте, если я вру...

И вслед за тем еще перекрестился несколько раз, нисколько не думая, что совершает грех.

По счастью, Иван Захарович никогда не видал генерала Езопова, хотя и слышал, что есть такой генерал, занимающий видное место, и не потребовал более подробного описания его наружности, довольствуясь лишь «длинными усами». Он только взглянул на свою супругу не без торжества человека, оправданного от взведенного тяжкого обвинения, и сказал:

– Я, Машенька, наскрозь человека вижу... Меня не обманешь. Шалишь, брат... Откуда бы услышал Антошка, что есть генерал Езопов. А я, Машенька, знаю, что есть в Петербурге такой генерал... Об нем и в газетах пишут... Небось меня не объегоришь... Не таковский! – снова повторил Иван Захарович, хвастливо подмигивая глазом.

По лицу «рыжей дамы» скользнула едва заметная насмешливая улыбка.

– Ну, хорошо, пусть генерал и говорил с этим подлюгой... Пусть. А ты, Иван Захарыч, спроси-ка у него, на какие это деньги он сейчас угощал леденцами Нютку и Лешку... Пусть-ка ответит, мерзавец! – проговорила «ведьма».

– Леденцами!? – воскликнул Иван Захарович и вперил на Антошку злые глаза.

Антошка понял, что дело принимает весьма серьезный оборот. Сердце в нем упало. Бледное лицо вдруг приняло испуганное выражение затравленного зверька.

А «рыжая ведьма» между тем продолжала:

– Спроси-ка у него, как он найдет на тебя управу... Я своими ушами слышала, как он грозился. «Мы, говорит, найдем управу на этого дьявола!» Это он про тебя, Иван Захарыч... Вот как он ценит твою заботу... Вот как он обкрадывает нас... А ты ему, подлому, и поверил... Принес всего тридцать копеек, а сам леденцы... покупает!

Лицо Ивана Захаровича побагровело. Что-то беспощадно жестокое было теперь в его маленьких, засверкавших глазах и в скверной улыбке, искривившей его толстые губы.

– Так вот ты какой... змееныш? Управу?... Леденцы покупаешь? – говорил тихим злым голосом Иван Захарович, снимая с себя толстый ремень. – Я покажу тебе управу! – засмеялся он, поднимаясь со стула.

– Да не жалея его... Пусть помнит! – вставила «ведьма».

– Я не из выручки взял деньги... Мне дала их одна барыня и не взяла товару... Клянусь богом... Не встать с места... Дя-де-нька!

Он говорил эти слова и сам чувствовал их безнадежность.

Сильный удар кулаком по лицу сшиб его с ног. Он упал навзничь, стукнувшись головой об пол. Новый удар сапогом заставил его вскочить на ноги, окровавленного, с тупой болью в груди.

Злоба, страх и отчаяние вдруг залили волной его маленькое сердце. Он видел по этому страшному лицу «дяденьки», что пощады не будет, и в его голове пробежала мысль о бегстве. Злобно сверкая глазами, словно маленький волчонок, он старался вырваться из крепкой руки Ивана Захаровича, которая держала его за шиворот, встряхивая, как щенка.

– Дя-денька! – молил Антошка. – Дя-де-нька! Вы не смеете мучить! – вдруг крикнул он в какой-то тоске отчаяния и рванулся сильнее.

– Ах ты...

И голова мальчика уже была между толстых икр Ивана Захаровича. В комнате раздались отчаянные крики... Мольбы о пощаде сменялись ругательствами. Злобный рев бессильного животного чередовался с раздражающим душу стоном.

«Дяденька» совсем озверел. Казалось, он не помнил себя и с остервенением палача половожил мальчика толстым ремнем с металлической пряжкой и все сильнее и сильнее сжимал его голову.

Вопли становились реже и глуше. Мальчик задыхался.

– Ты, Иван Захарыч, смотри, не задуши его! – крикнула ему «ведьма», довольно равнодушно посматривая на экзекуцию и нисколько не волнуясь этими криками.

– Небось... Не задушу...

Однако он чуть-чуть раздвинул ноги и в ту же минуту вскрикнул, словно от жестокой боли.

– Отпусти, подлец! Не то до смерти забью! – прошипел в бешеной ярости Иван Захарович, продолжая наносить удары.

Но Антошка не отпускал.

Точно маленький кровожадный бульдог, он вцепился своими крепкими и острыми зубами в ляжку своего мучителя и все крепче и крепче нажимал их с каким-то наслаждением мстительной злобы, готовый оторвать кусок мяса.

Иван Захарович рванулся, чтоб избавиться от этих зубов, причинявших ему жестокую боль, и серьезно проучить дерзкого мальчишку.

Но Антошка не зевал и вообще обнаружил в этот вечер редкую находчивость.

Почувствовав себя свободным от рук «дяденьки», он с ловкостью уличного мальчишки, бывавшего в переделках, изо всей силы дернул его за ногу, и Иван Захарович, и без того не особенно твердый на ногах, грохнулся наземь. Еще мгновение, и «ведьма» получила удар в живот, после чего Антошка, схватив со стола стакан с горячим чаем, не отказал себе в удовольствии удовлетворить свою злобу, выплеснув жидкость прямо в ее «поганую морду», и, не теряя затем драгоценного времени, выскочил из комнаты и стремглав бросился вон из квартиры, не заметив даже Нютки, которая выглядывала из дверей с застывшими от ужаса и страха черными большими глазами.

IV

Опасаясь погони, Антошка несколько времени бежал что есть духу по глухой дальней улице Песков. Пробежав порядочное расстояние, он завернул в какой-то переулок и остановился, чтобы передохнуть, прийти в себя и обдумать свое положение.

Положение мальчика в этот осенний холодный вечер в летнем намокшем и разорванном пальтишке и рваных старых башмаках на босых ногах, без шапки и даже без шарфа, одинокого как перст в большом городе, избитого и окровавленного, было не из блестящих. Но Антошка не унывал и считал, что несравненно лучше позябнуть, чем после всех происшедших столь неожиданно событий попасться к «дяденьке» и быть заколоченным насмерть. Антошка имел решительное желание жить на свете, и даже с большим спокойствием, чем до сих пор, и потому одна мысль о возможности возврата в ненавистную квартиру заставляла его вздрагивать и пугливо всматриваться в редких прохожих.

Несмотря на сильную трепку, Антошка не без удовлетворенного чувства гордости припомнил, как прокусил ляжку «черту» и ошпарил «ведьму», находя, впрочем, что этого им мало и что, бог даст, когда-нибудь он их «разделает» еще не так. Только бы ему сделаться большим. Тогда они узнают Антошку!

Эти злые мысли быстро сменились вопросом: куда ему идти? И тотчас же решение было принято. Он пойдет к доброму «графу», и тот посоветует, что ему делать, и, конечно, не откажет в пристанище. По счастью, Антошкина записная и учебная книжка находилась в кармане, и он, приблизившись к фонарю, не без труда разобрал адрес, написанный мелким почерком «графа».

Оставалось еще привести себя в некоторый порядок. Он увидел, что руки его были в крови, и догадался, что это от расквашенного носа, за который он хватался; необходимо было смыть кровь ввиду предстоящего путешествия по освещенным улицам и придиричivosti «фараонов».

Ведро с водой у водосточной трубы, замеченное Антошкой поблизости, доставило ему возможность не только пополоскать руки и вымыть лицо, но и освежить воспаленную голову... Она, казалось ему, была какая-то тяжелая и точно чужая, а после воды стала легче.

Возбужденный и взволнованный, Антошка двинулся в путь и сначала не чувствовал ни дьявольски холодного ветра, насквозь пронизывающего его худенькое тельце и играющего его кудрявыми волосами, ни боли в спине, покрытой синими подтеками, и торопливо шагал по улицам, осторожно обходя «фараонов», чтобы не иметь с ними каких-нибудь неприятных разговоров, какие могли бы завести эти придиричивые люди с мальчиком в рваном пальтишке и, главное, без шапки, который ищет пристанища и участия.

По счастью, дело обошлось без приключений, и через часа полтора Антошка, совсем посиневший от холода, чувствуя страшную боль в спине, поднимался по грязной лестнице в квартиру прачки, у которой жил «граф».

Невообразимо радостное чувство охватило его, когда он очутился в тепле и когда старая женщина, впустившая его, с видом изумления и в то же время жалости провела этого вздрагивающего оборванца к своему жильцу.

V

После не особенно удачливого дня «граф» сидел в затрапезном халате трудно определимой материи у небольшого деревянного стола и при тусклом свете маленькой лампы читал вчерашнюю газету. Он читал в ней описание какого-то великосветского бала, напоминавшее ему о близком когда-то мире суеты и тщеславия, блеска и роскоши, о прежних знакомых и родных и, судя по выражению его лица, воспоминания эти вызывали скорее чувство озлобления, чем горечи.

Он задумался, как задумывался не раз, о превратности судьбы и безнадёжности своего положения, когда скрипнула дверь и в эту крошечную, убогую комнату, все убранство которой состояло из кровати, стола и стула, вошел Антошка и, радостно взволнованный, остановился у дверей.

– Это вы, Анисья Ивановна? Что вам угодно? – окликнул «граф», не поворачивая своей кудрявой, заседевшей головы.

– Это я... Антошка!

– Антошка!? – воскликнул «граф», изумленный приходу мальчика в такую пору, и быстро подошел к нему.

Жалкий вид худенького, посиневшего и вздрагивавшего мальчугана, пришедшего в легком одеянии, в дырявых башмаках на босые ноги и без шапки, вызвал на лице «графа» выражение жалости и участия, и он тревожно спросил:

– Что случилось, Антошка? Откуда ты в таком костюме?

– Я убежал от них, от подлецов... Уж вы только не отдавайте, граф, если он потребует меня обратно... Он убьет!.. А я вам заслужу... Я на вас стану работать! – взволнованно говорил Антошка.

– Глупый! Разве я отдам тебя этим мерзавцам! Не бойся, Антошка. Что ж ты стоишь? Садись, бедный мальчик... Ишь как озяб... Сейчас чаем отогреешься... Молодец, что удрал и ко мне явился... Я тебя в обиду не дам... Надень-ка мое пальто... согрейся...

– Я и так согреюсь. У вас страсть как тепло. Славно у вас!

– Надевай пальто, говорят! – весело и ласково приказывал «граф», снимая с гвоздя пальто. – И сапоги мои одень, а то босой почти... Так и заболеть недолго... Что, видно, дяденька бил?

– Шибко бил, подлец... спина саднит... И чуть было не задушил ногами... Ну, и ему таки попало! – не без гордости прибавил Антошка.

– Попало? – сочувственно улыбнулся «граф».

– Я ему ногу прокусил... до крови! – с торжествующим видом сказал мальчик.

– Ловко!.. Ты мне потом в подробности расскажешь обо всех этих событиях, а пока побудь один... Я пойду распорядиться насчет чая.

«Граф» вышел и завел конфиденциальный разговор с квартирной хозяйкой о нескольких щепотках чая и кусках сахара, о гривеннике «до завтра» и об устройстве ночлега для мальчика. Он говорил так убедительно, что хозяйка тотчас же согласилась на все его просьбы и обещала немедленно подать самовар, купить хлеба и дать тюфяк, подушку и одеяло.

– Очень благодарю вас, Анисья Ивановна! – с чувством проговорил «граф», пожимая руку квартирной хозяйки.

– Не за что, Александр Иванович... И у меня, слава богу, христианская душа... И мне жалко этого мальчика. Что, он у вас будет жить?

– У меня пока. Бездомный сиротка этот несчастный мальчик, Анисья Ивановна... Нельзя не приютить.

– Где же он прежде-то жил? – спрашивала старая Анисья Ивановна, раздувая самовар.

– А у одного подлеца солдата... Он детей чужих берет и посылает их на улицу нищенствовать... Ну и тиранит их...

– Ах, бедные! – пожалела квартирная хозяйка и, вероятно, разжалобившись, прибавила: – Так я, кроме ситника, пожалуй, и колбасы возьму... Пусть мальчик закусит...

«Граф» еще раз поблагодарил Анисью Ивановну и, вернувшись к Антошке, весело сказал:

– Сейчас будет чай готов... Хорошенько напьемся и потом ложись спать... Хозяйка тебе постель смастерит... отлично выспишься...

Антошка благодарными глазами смотрел на «графа» и произнес:

– Без вас вовсе бы пропасть, граф... Только вы один и есть на свете добрый человек для меня...

– Ну, нечего там благодарить, – дрогнувшим голосом перебил «граф», ласково взглядывая на Антошку. – Хотя на свете и много мерзавцев, Антошка, и злых людей, но не все же такие; есть, братец мой, и хорошие... Это ты помни...

– Вы вот хороший...

– Я? – горько усмехнулся «граф». – Я прежде был, может, самый дурной... Ну да еще успеем с тобой пофилософствовать... и поближе познакомиться друг с другом. А с завтрашнего дня начнем действовать. Быть может, завтра же и оденем и обуем тебя как следует, по сезону...

– И вы меня на работу пошлете? – весело спросил Антошка. – Я умею хорошо собирать... Мне всегда подавали, когда я в нищенках был...

– Нет, Антошка, на такую работу я тебя не пошлю... К черту такую работу...

– Значит, с ларьком думаете?... На это много капитала нужно... И товар и за жестянку! – деловито проговорил Антошка, понимавший, что «граф», который сам, случалось, «работал» по вечерам, останавливая прохожих просьбами на разных диалектах, не находится в таких блестящих обстоятельствах, чтобы завести ларек.

И так как Антошка не желал сидеть сложа руки и объедать «графа», считая это в высшей степени недобросовестным, то деликатно напомнил, что работа в нищенках вовсе не дурная и не тяжелая, особенно если под пальтом полушубок.

Но, к крайнему изумлению Антошки, «граф» решительно запротестовал.

– Что ж я буду делать? – спросил мальчик.

– Об этом подумаем! Подумаем, Антошка! – значительно протянул «граф», оставляя Антошку в некотором недоумении.

Анисья Ивановна принесла самовар, хлеб и колбасу, и скоро Антошка с наслаждением пил чай и закусывал. За вторым стаканом он передал «графу» подробности недавних событий у «дяденьки», и «граф» несколько раз вставлял неодобрительные эпитеты по адресу «ведьмы» и ее супруга и весело улыбался, когда Антошка рассказывал о подвигах, предшествовавших его бегству.

Постель была устроена на славу доброй Анисьей Ивановной. Она принесла довольно мягкий матрас, накрыла его простыней, положила большую подушку и теплое ватное одеяло и, убирая самовар, промолвила, обращаясь к Антошке:

– Небось спать хорошо будет. Спи, Христос с тобой, бедняжка!

Сонный Антошка быстро разделся и, облачившись в чистую ночную сорочку «графа», юркнул под одеяло и тотчас же заснул, довольный, благодарный и счастливый, тронутый до глубины души нежной лаской, которую он испытал первый раз в жизни.

«Граф» заботливо ощупал голову мальчика, присел к столу и задумался.

VI

«Граф» раздумывал о том, как устроить Антошкину судьбу и не дать ему погибнуть в той развращающей атмосфере нищеты, безделья и нищенства, которую он хорошо знал по собственному опыту многих лет.

Но он поконченный человек, а способный, неглупый Антошка еще на пороге жизни...

Этот бездомный, несчастный мальчик, обратившийся к покровительству «графа» и видевший в нем своего единственного спасителя, сделался теперь как-то особенно ему близким и точно родным и словно бы явился светлым лучом, озарившим беспросветный мрак одинокой горемычной жизни павшего человека.

И озлобленное сердце этого отверженца, презираемого всеми родными и бывшими друзьями, чужого и все-таки барина в глазах тех товарищей по нищете, среди которых он враждался, втайне жаждавшего и не находившего слова участия и привязанности, – это сердце смягчалось, охваченное чувством жалости, любви и заботы к такому же бездомному, одинокому созданию, как и он сам.

Этот мальчик, видимо, привязанный к нему, словно бы давал новый смысл его жизни. Сделать его человеком, иметь на свете преданное, благодарное существо – эта мысль радостно волновала «графа», являясь как бы примирением с жизнью.

Он горько усмехнулся, вспомнив, что прежде, когда он имел возможность спасти не одно несчастное существо, подобное Антошке, мысль об этом никогда даже и не закрадывалась в его голову. Он жил только для себя и думал о себе...

«Неужели надо быть нищим и отверженным, чтобы пожалеть других!?» – мысленно задал он себе вопрос и решил его утвердительно, чувствуя неодолимое желание помочь Антошке именно тогда, когда это для него было так трудно.

Он сделает все, что только возможно.

Он напишет всем своим клиентам и, быть может, соберет нужную сумму для экипировки мальчика. Разумеется, ни один из его клиентов не поверит, что он просит не для себя. Еще бы поверить! Давно уже больше рубля, много двух, ему не посылали те из немногих родственников и товарищей, которые не всегда оставляли без ответа письма «графа», посылавшиеся в особенно трудные минуты жизни.

Наконец, он даже обратится к своему «знатному братцу», как презрительно называл «граф» своего старшего брата, занимавшего очень важный пост. Он ненавидел этого брата и в слепом озлоблении считал его лицемером, эгоистом и даже взяточником. Недаром у него огромное состояние. Откуда оно?

Он, никогда не обращавшийся к этому брату после того, как брат раз навсегда отрекся от него, готов не только написать ему, но даже после пятнадцати лет пойти к нему в его парадную казенную квартиру и, если только швейцар пустит, лично просить помочь Антошке.

И много ли нужно?

Всего каких-нибудь двадцать рублей, чтоб сделать все необходимое мальчику... И тогда можно будет посылать его в школу...

И двоюродной сестре, княгине Моравской, напишет... Она благотворительная дама... Быть может, устроит мальчика, назначит ему какую-нибудь пенсию на содержание...

В мечтах о будущей судьбе Антошки «граф» непременно хотел, чтобы Антошка жил с ним, хотя бы первое время... Не все же это вечное одиночество. Все же около существо будет!

Двадцать рублей! Каким огромным капиталом казались эти деньги теперь «графу», швырявшему по сотне на чай в модных ресторанах во время былых кутежей!

Да, то было прежде, лет пятнадцать тому назад, когда молодой, красивый и изящный гвардейский кавалерийский офицер Опольев блистал в свете, считаясь одним из блестящих и элегантных представителей золотой молодежи, и имел все шансы на хорошую карьеру.

Он был умен, легкомыслен и бесхарактерен и жил, что называется, вовсю: кутил, ссужал приятелей, тратил направо и налево и, промотав большое состояние, доставшееся от бабушки, стал делать долги, попал в руки ростовщиков, запутался совсем и в один прекрасный день поставил фальшивый бланк отца, старого генерала с большим состоянием... Это обнаружилось; отец заплатил крупную сумму, но с тех пор не желал знать сына и уже больше не простил его.

Опольев должен был выйти в отставку и скрыться с светского горизонта. От него отвернулись, разумеется, все бывшие приятели, а старший брат, лишавшийся благодаря брату-кутиле значительной доли ожидаемого наследства, совсем отказался от брата, и когда несчастный обратился однажды к нему за помощью, он отказал и велел ему передать, что не считает такого негодяя своим братом. Прежний общий любимец Шурка, веселый и блестящий Шурка вдруг сделался отверженцем.

История этого падения представляла собой одно из обычных явлений в жизни светской молодежи, явлений, которые в большинстве случаев кончаются не так печально. Многие в той среде, в которой вращался Опольев, делали то же самое и еще худшее, но эти «ошибки молодости» благодаря различным случайностям, в виде ли выгодного брака, или снисходительности родителей, нисколько не мешали потом таким же виноватым, как и Опольев, остепениться и быть даже впоследствии в некотором роде столпами отечества.

Опольев хорошо понимал это. Он считал, что судьба его жестоко и несправедливо показала за то, что проходит бесследно для других... Ни одна душа не поддержала его в это время, никто из близких не протянул ему руки серьезной помощи. Кое-кто бросал ему брезгливо подачки, считая, что исполнил долг и на некоторое время избавлялся от назойливого попрошайки.

Та самая среда, которая воспитала его и всеми своими привычками, взглядами и поступками поощряла к той же праздной и бесцельной жизни, какую вела сама, исключила его из своих членов, как недостойного, опозорившего честь касты, и Опольев был скоро всеми основательно забыт.

Возмущенный отношением тех самых приятелей и друзей, которые кутили на его счет и брали от него деньги, открывший внезапно глаза на всю подлость людей, он озлобился, хотел было пустить себе пулю в лоб, но кончил тем, что запил и махнул на все рукой в какой-то безнадежной отчаянности человека, не способного ни к какому серьезному труду.

Подняться он уж более был не в силах. Все связи были порваны, и никакого места он получить не мог. Поступил было в частную контору, но его скоро выгнали. И он постепенно переходил все фазисы падения за эти пятнадцать лет своего паразитного существования, пока не сделался нищим пропойцем. Всего было, за что в минуты просветления приходилось краснеть...

Но за это время он кое-чему научился, обо многом размышлял и многое понял.

Он понимал всю неприглядность своего существования, но зато оценил по достоинству и весь ужас прежней своей жизни. И сравнение выходило не особенно утешительное, когда он сопоставлял настоящее и прошлое. Он понял, что среда, в которой он прежде вращался, безжалостно эгоистична и зла, и возненавидел эту среду. Он близко увидел нищету и страдания обездоленных и несчастных, неудачников и свихнувшихся и понял, что они такие же люди, как и потомки Рюриковичей, и заслуживают по справедливости иного отношения. Среди этих отверженных он встречал и участие и отзывчивость...

И прежний блестящий офицер, считавший «сволочью» всех, кто не может жить порядочно, обратился в протестующего скептика философа, решавшего довольно оригинально

общественные вопросы и относившегося с презрительной злостью к великим мира сего и вообще к устройству самого мира, требующего, по его мнению, самой основательной встряски, и с какою-то иронической покорностью отпетого человека нес свое положение. Он ни на что уже более не надеялся и ничего не ждал. Доктора ему сказали, что при том образе жизни, который он ведет, он не протянет и пяти лет. Его это нисколько не испугало. Он усмехнулся и проговорил:

– Однако долго еще тянуть, доктор!

Опускаясь все ниже и ниже в глубину нищеты и казавшийся стариком в свои сорок пять лет, он все-таки старался сохранить некоторое внешнее подобие приличного господина и особенно заботился о своем костюме, имея вид барина даже и тогда, когда в сумерки (днем «граф» никогда не «работал») останавливал кого-нибудь из прохожих и на превосходном французском диалекте просил «одолжить» некоторую монету. Он даже не просил, а скорее предлагал, причем сохранял свое достоинство, и когда слегка приподнимал свой рыжий цилиндр, зажимая в перчатке полученную монетку, и когда только галантно прикладывал руку к шляпе, получив отказ. За это его в «Лавре», где он жил последнее время, и прозвали «графом». Никто не знал его настоящей фамилии, и под кличкой «графа» он известен был своим товарищам по профессии.

Антошка сладко всхрапывал во сне, а «граф» еще писал, имея на столе запас почтовой бумаги и конвертов, которые являлись для него, так сказать, главным орудием производства.

Наконец последнее письмо было окончено. Эти прочувствованные, горячие строки к брату, в которых он просил денег для мальчика, должны были, по мнению «графа», подействовать даже и на такого «знатного прохвоста». Он, наверное, пришлет просимую сумму, и быть может, и больше. Вдруг письмо попадет в хорошую минуту, когда человек делается добрее обыкновенного!

Лампа догорала. «Граф» встал из-за стола с видом человека, вполне удовлетворенного своей работой, достал из-под кровати маленькую склянку с водкой и слегка трясущейся рукой налил рюмку водки. Он вытянул ее медленно, процеживая через губы, с наслаждением алкоголя. Затем выпил другую и третью, опорожнив бутылку, и только тогда разделся и лег в постель.

В эту ночь он заснул не с теми мрачными мыслями, с какими засыпал обыкновенно. Напротив, приятные и радостные думы пронеслись в его голове. Жизнь не казалась ему такой безотрадной благодаря присутствию Антошки.

VII

Мутный сероватый свет дождливого осеннего утра пробивался в окно, когда «граф» поднялся довольно бодрый и в хорошем расположении духа. За стеной, у хозяйки, пробило семь часов. Антошка еще спал.

При свете маленького огарка с иглой в руках «граф» занялся приведением в некоторую возможную исправность своего костюма. Дыры на черном лоснившемся сюртуке были зашиты, бахромки с конца штанин срезаны и все платье аккуратно вычищено. Затем «граф» почистил сапоги и достал из маленького сундучка чистые воротники и манжеты. Когда все было готово, он вышел в кухню, вымылся и довольно долго и тщательно расчесывал свои кудреватые волосы и длинную бороду перед маленьким зеркальцем и привел в порядок ногти на своих красивых руках.

Покончив с туалетом, он снова вышел и, встретив хозяйку, с обычной своей галантностью пожелал ей доброго утра.

– Что так рано сегодня, Александр Иванович?

– Дел сегодня много, Анисья Ивановна... Рано выйду со двора... Надо хлопотать за мальчика, понимаете?..

Он деликатно попросил насчет самоварчика и булки для Антошки, обещая сегодня же покончить маленькие счета с хозяйкой, и прибавил:

– И еще покорнейшая просьба, добрейшая Анисья Ивановна.

– Что такое?

– Быть может, я сегодня не скоро вернусь, так уж будьте любезны, не откажите накормить мальчика.

– Не бойтесь, голодным не оставлю. Позову обедать, не объест! – не без обидчивости проговорила добрая женщина, которая не раз предлагала и жильцу своему поесть вместе с ней.

Она жалела «графа», и главным образом потому, что он барин, отставной офицер и, верно, прежде богатый, находится в таком положении. Старый альбом «графа» с фотографиями генералов, блестящих дам и офицеров, в который она полюбопытствовала как-то заглянуть в отсутствие «графа», окончательно разжалобил Анисью Ивановну и заставил ее отнестись к «графу» еще с большим участием. И она (хоть при найме комнаты это и не было выговорено) подавала ему самовар и вообще старалась оказывать услуги. Жилец он был тихий и очаровывал хозяйку своим любезным и полным достоинства обращением.

– А вы, Александр Иванович, насчет чего же, собственно, хотите хлопотать? Определить куда мальчика? – полюбопытствовала Анисья Ивановна.

– Вообще устроить... Ну, разумеется, прежде всего насчет денег... Надо же и одеть и обуть его...

– Что и говорить... Совсем, можно сказать, голый мальчик... Где же вы, Александр Иванович, полагаете достать?.. У сродственников?

– Да.

– Дадут? – недоверчиво спросила хозяйка.

– Рассчитываю. Я не для себя прошу.

– Ну, дай вам бог, Александр Иванович!.. Сами вот терпите, а за мальчика хлопочете... Да и насчет его документа схлопочите, а то старший дворник узнает... Как бы не было неприятностей.

«Граф» обещал похлопотать и насчет документа – он пойдет сегодня же к бывшему хозяину Антошки и, поблагодарив квартирную хозяйку, хотел было уходить, как вдруг она сказала, понижая голос:

– Ведь вы не при деньгах, кажется, Александр Иванович?

– Не при деньгах, Анисья Ивановна, но перед деньгами... А что? – шутливо спросил «граф».

– А то, что как же вы по делам будете ходить и по такой погоде... Ишь ведь дождь-то какой... Неравно и простудитесь... А вы бы в конке... И я с полным моим удовольствием... Сколько вам будет угодно?... Сорок копеек, а то полтину?... Как получите, отдадите...

У «графа» что-то защекотало в горле, и теплое благодарное чувство прилило к сердцу, когда он ответил:

– Ишь вы какая... заботливая, Анисья Ивановна... Сердечно благодарю вас и не откажусь... Возьму двугривенный... В самом деле... в конках удобнее...

Анисья Ивановна отдала деньги и предложила зонтик.

– Удобный зонтик, по крайней мере не промочит!

Но синий неуклюжий зонтик, видимо, шокировал «графа», и он отказался.

Вернувшись к себе, он застал уж Антошку вставшим и одетым в свое тряпье, с заспанным лицом, полным радости и счастья. Карие его глазенки весело улыбались.

– Доброго утра, Антошка! – приветствовал его «граф», протягивая ему руку. – Хорошо спал?

– Доброго утра, граф... А спал я чудесно, граф.

– Ну, что, здоров?

– Как есть вполне... И спина не болит... Хучь сейчас на работу...

– Ишь ты выносливый какой... Вчера у тебя жар был... Я думал – заболеешь, а ты как вострепанный... Что, здесь лучше, чем у дяденьки?

Вместо ответа Антошка засмеялся и вдруг, охваченный радостным благодарным порывом, по привычке нищенки прильнул к его руке.

– Не надо... Не люблю, – промолвил «граф», отдергивая руку. – Никогда этого не делай... Слышишь?

– Вы не сердитесь, граф. Я больше не буду! – виновато промолвил Антошка.

– Я не сержусь, голубчик! – улыбнулся «граф» и с нежностью потрепал Антошку по плечу.

– Не прикажете ли чего сделать, граф? Сапоги ваши почистить? Комнату подмести?

– Прежде всего я прикажу тебе идти на кухню и хорошенько вымыться... Вот что я тебе прикажу... А вечером я тебя сведу в баню... Давно ты был в бане?

– Давно... И не упомяну когда... «Дяденька» не посылал...

– Вот сегодня я поговорю с твоим дяденькой...

– Зачем? – испуганно спросил Антошка.

– Возьму твой документ.

– Какой документ?

– Такой... У каждого человека есть документ, чтобы знали, кто он такой... А ты не бойся... Теперь твой дяденька ничего не смеет тебе сделать...

– А как он придет сюда?

– Не придет... Я его так припугну, что он и не подумает прийти...

– Если бы и Нютку взять... Она ловкая девчонка...

– О Нютке, братец, потом подумаем...

Через четверть часа оба приятеля сидели за самоваром. «Граф» на постеле, а Антошка напротив, на стуле. Анисья Ивановна деликатно подала не одну булку, а еще и большую краюху ситного хлеба... «Граф» выпил лениво стакан чая, покуривая скверную папироску, зато Антошка выпил целых три стакана, уписывая за обе щеки хлеб.

– Сыт?

– Сыт совсем... Покорно благодарю...

Антошке хотелось быть чем-нибудь полезным «графу», как-нибудь ему услужить, и он, увидавши на столе письма, проговорил.

– Прикажете снести, граф?

– В таком костюме? – засмеялся «граф».

– Что ж костюм? Я привык... Я бы сбегал, граф. Только дозвоьте.

– Вижу, что сбегал бы... Лаской из тебя хоть веревки вей!.. – вставил «граф» не совсем понятное для Антошки выражение. – А ты уж сегодня никуда не бегай, посиди дома... Видишь, какая погода... Я сам письма разнесу и вообще пойду по разным делам... К вечеру я вернусь... Обедать ты будешь с хозяйкой, с Анисьей Ивановной... Она, брат, добрая, хорошая женщина, Анисья Ивановна... Без меня ты можешь прибрать нашу комнату и помочь хозяйке, если что нужно...

«Граф» стал одеваться и, окончив одевание, имел довольно внушительный вид.

– Ну что, Антошка, как ты находишь мой костюм... Хорош?

– Чего лучше! – отвечал восхищенный Антошка.

– Ну и отлично! – засмеялся «граф». – Кстати, ты не забыл адреса той барыни, которая звала тебя за платьем?.. Я, быть может, и ее навешу...

– Он у меня записан, – отвечал Антошка, доставая из кармана штанов свою записную книжку...

– Ну-ка, давай ее сюда... Я посмотрю, как ты выучился писать... Гм... Недурно... весьма недурно... «Скварцова... Сергифская, пятнадцать»... Со временем можно будет и лучше... И выучимся... И писать, брат, выучимся, и арифметике, и истории... всему, Антошка, в школе выучимся! – значительно проговорил «граф», заставляя Антошку вытаращить от изумления глаза.

Он, признаться, подумал, что «граф» так себе... «хвастает», но из деликатности не заявил сомнения насчет возможности исполнить такое обещание. «Граф» сам нищенствовал – и вдруг... школа...

«Подико-сь все это денег стоит!» – подумал Антошка.

– Ну, брат... об этом после поговорим... вечером... а пока до свидания!

И «граф», надев чуть-чуть набекрень свой цилиндр, с важным и решительным видом вышел из комнаты, натягивая перчатки.

VIII

«Граф» имел обыкновение рано утром выпивать рюмки две водки. Хотя доктора и находили, что это вредно, но «граф», напротив, полагал, что это очень полезно. Некоторый прием алкоголя возбуждал его нервы, и он чувствовал себя бодрее и оживленнее.

Так как дома запаса водки не было, то первый визит «графа» был в заведение поблизости, где он имел кредит.

– С добрым утром. Александр Иванович! – любезно приветствовал его заспанный пухлый сиделец.

«Граф» кивнул головой и проговорил:

– Стаканчик!

Проглотив стаканчик, он с тем же небрежным видом, с каким, бывало, держал себя у Бореля или у Дюссо, кинул. «За мной!» – и, дотронувшись до полей цилиндра, вышел на улицу.

Дождь лил немилосердно, и потому «граф» торопливо дошел до Офицерской и сел в маленькую одноконную каретку-омнибус, которая повезла его по Казанской улице до Невского. Оттуда он направился в Большую Морскую и вошел в подъезд большого дома, где жил его брат, тайный советник Константин Иванович Опольев.

Толстый, раскормленный швейцар с отлично расчесанными холеными бакенбардами, которым мог бы позавидовать любой директор департамента, с нескрываемым презрением оглядел «графа» с ног и до головы и хотел было спровадить на улицу, как попрошайку, который не понимает, куда лезет, как был решительно поражен и озадачен высокомерным тоном, каким этот намокший господин в рыжем цилиндре произнес:

– Эй... ты, швейцар!.. Передай это письмо Константину Ивановичу... Да, смотри, немедленно...

Швейцар нехотя, с брезгливой миной протянул руку за письмом и, с умышленным упорством оглядывая костюм «графа», проговорил не без презрительной нотки в голосе:

– Если генерал спросит, кто передал письмо, как сказать?

– Скажи, что... что... дальний родственник.

И не спеша, с достоинством испанского гранда вышел из подъезда, оставив швейцара в изумлении, что у его превосходительства могут быть родственники, одетые, как нищие.

Дальнейшие посещения «графом» разных швейцарских, где его знали по прежним визитам, нельзя было назвать особенно удачными.

В двух домах ему сообщили, что господа почивают; в двух – передали, что на письма никакого ответа не будет; в трех ему выслали с лакеями по рублю, а от кузины-княгини был деликатно передан конвертик. Он содержал в себе зелененькую кредитку и маленький листок почтовой бумажки, на котором были написаны карандашом следующие слова:

«Желательно повидать мальчика».

– Не верит! – прошептал «граф», запрятывая трехрублевую бумажку и записочку в жилетный карман.

«Что ж, когда Антошку приведем в приличный вид, можно его и послать к княгине Марье Николаевне... Пусть познакомится. Быть может, что-нибудь и сделает!» – весело думал «граф», собираясь теперь сделать визит к «дяденьке».

Был четвертый час. «Граф» порядочно-таки устал после своих посещений нескольких домов в разных частях города и проголодался. Но он решил прежде закончить свою программу действий на сегодняшний день и потом уже пообедать.

Дождь перестал. «Граф» на Михайловской поднялся на империал конки и поехал на Пески.

Иван Захарович и его супруга были дома и оба находились в дурном расположении духа. «Дяденька» курил молча, без обычного благодушия, был совершенно трезв и не выказывал обычной нежности своей Машеньке. Он даже сегодня не ходил в трактир, чтобы почитать газету и побеседовать о политике и о разных отвлеченных предметах с приказчиком. В свою очередь и Машенька была угрюма и зла и, грязная и нечесаная, с подвязанной щекой от ожога, сидела за пологом и взглядывала по временам в окно на двор.

Бегство Антошки беспокоило обоих по весьма уважительным причинам.

Во-первых, Антошка представлял собой и весьма доходную статью их бюджета и потеря такого «племянника» затрогивала довольно чувствительно их материальные интересы. Во-вторых – и это, пожалуй, волновало супругов не менее, – у обоих мелькали неприятные мысли, как бы из-за этого «неблагодарного подлеца», забывшего все оказанные ему благодеяния (на это особенно напирал Иван Захарович, ценивший, как известно, высокие чувства), не вышло каких-нибудь серьезных неприятностей с полицией и даже с сыскным отделением, близкое знакомство с которым не очень-то улыбалось Ивану Захаровичу, имевшему уже случай в своей жизни раза два побывать там.

Этот «разбойник» недаром грозился, что найдет управу, и чего доброго заведет какую-нибудь кляuzu...

– Дда... неблагодарный и подлый, можно сказать, ныне народ! – наконец проговорил Иван Захарович.

Реплики со стороны жены не последовало, и Иван Захарович снова задумчиво курил папироску.

Оба супруга не прочь бы явить Антошке снисхождение и избить его не особенно сильно, несмотря на укушенную ногу и ошпаренное лицо, если бы только он явился с повинной. Иван Захарович даже несколько сердился на жену за то, что она вчера его «настроила» против Антошки, и размышлял теперь о том, что благоразумие требует не очень-то сильно валять ремнем и что следует при «выучках» остерегаться пускать в ход пряжку во избежание знаков на теле, весьма заметных при медицинском осмотре.

Вообще Иван Захарович, несмотря на сознание необходимости грозной власти в своем заведении, обнаруживал, как большая часть жестоких людей, трусливую подлость в этот день.

Оба супруга с утра поджидали Антошку и часто поглядывали в окно. Отпуская утром своих «пансионеров» на работу, Иван Захарович был со всеми необычно ласков и многих снабдил одеждой и обувью, более соответствующими осенней погоде. Вместе с тем он поручил своим питомцам, в случае если кто из них встретит Антошку, передать ему, что «дяденька» нисколько на него не сердится и охотно простит его, если он вернется домой.

И, как опытный правитель в духе Макиавелли ⁴, понимающий, что дурные примеры, подобные Антошкину бегству, заразительны и что после нежных слов не мешает и угроза, прибавил, обращаясь к своим маленьким покорным подданным:

– Я жалею его говорю. А то хуже будет, когда городской его приволокет за широрот. А приволокет беспреречно, потому как Антошка и все вы в полном моем распоряжении и обязаны по закону мне повиноваться... Ну, а тогда не пеняй... Не прощу! – не без энергии закончил Иван Захарович свою правительственную речь.

По случаю дурной погоды «дяденька» милостиво разрешил своим воспитанникам вернуться пораньше. К трем часам все почти вернулись.

Никто Антошки не встречал.

⁴ Макиавелли, Никколо ди Бернардо (1469–1527) – итальянский политический деятель, писатель. Убежденный сторонник объединения Италии. В своем основном произведении «Государь» доказывал, что раздробленность Италии может быть преодолена только под руководством сильной, не ограниченной никакими нравственными нормами диктаторской власти государя. Совокупность развитых им политических идей впоследствии получила название макиавеллизма.

– Этаким подлец! – сердито проворчал Иван Захарович.

В эту минуту в прихожей звякнул звонок.

Иван Захарович сам пошел отворять, по дороге плотно затворив двери комнаты, в которой помещались его питомцы.

Увидав незнакомого человека, костюм которого не внушал большого уважения и в то же время успокоивающим образом подействовал на Ивана Захаровича, он все-таки по привычке с пытливой подозрительностью взглянул на вошедшего, словно желая определить его житейское положение, и довольно холодно осведомился, что ему угодно.

– Мне угодно переговорить с вами по одному делу, – сухо и резко проговорил «граф», как будто не замечая протянутой ему руки.

Душа Ивана Захаровича ушла в пятки.

«Уж не агент ли сыскной полиции!» – пробежало в его голове.

И он, несколько смущенный, понижая голос до конфиденциального шепота, уже самым любезным, заискивающим тоном просил «графа» пожаловать в комнату.

– Машенька! Выдь на минутку! – значительно проговорил он, обращаясь к жене, и, когда та прошмыгнула мимо гостя в двери, предложил ему присесть и снова бросил на него пристальный взгляд.

Тут, в комнате, при свете лампы, он лучше осмотрел и костюм графа и его испитое лицо, и ему показалось, что он где-то видел этого господина...

«Граф» между тем не предъявлял своего агентского билета, и Иван Захарович все более и более сомневался, что перед ним агент. Он, слава богу, видывал их! И, словно досадуя на свой напрасный страх, он сел на стул против «графа» и не без некоторой фамильярности сказал:

– Так по какому такому делу пожаловали, господин?.. Извините, не имею удовольствия знать, кто вы такой... А я с незнакомыми никаких делов не веду... Да и, прямо ежели сказать, никакими делами не занимаюсь.

– Я пришел получить у вас метрическое свидетельство Антошки...

– Что-с?..

– Слышали, кажется...

– Какого такого Антошки, позвольте узнать-с? – нахально спросил Иван Захарович, стараясь скрыть вновь овладевшее им беспокойство.

– А того Антошки, который ходил от вас с ларьком и которого вы вчера истязали ремнем и чуть не задушили... Нога ваша, вероятно, уже зажила? – насмешливо прибавил «граф».

– Позвольте, однако, спросить, кто вы такой будете и по каким таким правам требуете документ моего родного племянника?

– Не лгите. Он вам не племянник... Я знаю! – уверенно произнес «граф».

Иван Захарович смутился.

– Все равно вместо родного. Я его воспитал. А вы, что ли, сродственник ему? – насмешливо кинул он.

– Нет, я мальчика давно знаю и принимаю в нем участие... В нем принимают участие и другие лица, и Антошка теперь находится у моей двоюродной сестры, княгини Моравской, – пугнул «граф», заметив, с каким трусом имеет дело.

Иван Захарович недоверчиво взглянул на «графа». Костюм его не свидетельствовал о родстве с князьями, но в то же время в манере этого господина было что-то барское и внушительное. Это Иван Захарович сообразил.

– А вы чем изволите быть?..

– Я... штаб-ротмистр лейб-гвардии уланского его величества полка в отставке, Опольев. Можете, если хотите, удостовериться... Вот мой указ об отставке.

– Что мне удостоверяться?.. Только я документа не отдам. Нашли, с позволения сказать, дурака? По какой такой причине я отдам вам документ?.. Довольно даже странно, что вы, господин, вмешиваетесь в чужие дела... Я тоже права имею.

– Как знаете! – промолвил, вставая, «граф», – но только помните, что завтра же утром я подам заявление градоначальнику! – прибавил «граф» и направился к двери.

Эта угроза произвела на Ивана Захаровича впечатление, и он сказал:

– Позвольте, сударь... Зачем же градоначальнику?.. Если мне уплатят за содержание этого подлеца – как перед богом говорю, что Антошка неблагодарная тварь, – я готов развязаться с ним... Ну его... а то, согласитесь, за что же разорять бедного человека...

– Мне некогда с вами разговаривать. Документ, или завтра же вы будете в сыском отделении... И вообще я советовал бы вам переменить род занятий! – внушительно прибавил «граф»...

– Какие такие занятия, позвольте спросить?

– А заведение чужих детей, которых вы посылаете нищенствовать...

– Всякому надо кормиться... И дети у меня, слава богу, ничем не обижены... всем довольны...

– И тем, что вы их порете?.. Ну, довольно... Отдаете документ или нет?

Через пять минут «граф» вышел, получив под расписку метрическое свидетельство Антошки.

Струсивший и растерявшийся Иван Захарович, провожая «графа», униженно просил не поднимать истории и обещал серьезно подумать о перемене занятий.

– Действительно, беспокойное занятие, сударь... Того и гляди из-за какого-нибудь неблагодарного мальчишки получишь одни неприятности! – говорил Иван Захарович.

«Граф» возвращался в конке с Песков очень довольный, что дело с этим «мерзавцем» было покончено так скоро и легко. Он не ожидал, что «дяденька» окажется таким трусом и отдаст документ первому встречному, который пугнет его. Теперь можно и пообедать. Но прежде «граф» решил, несмотря на голод, свершить маленькую вечернюю экскурсию в одну из людных улиц и, глядя по успеху, позволить себе более или менее роскошное меню обеда.

Деньги, бывшие у «графа» в кармане, он считал Антошкиными и взять из них на обед считал возможным только в случае крайней необходимости.

Доехав до Михайловской, он пошел по левой стороне Невского и сделал несколько предложений одолжить ему какую-нибудь монетку. Несмотря на то, что предложения эти делались и по-русски, и по-французски, и по-немецки, ни одна душа не одолжила «графа», и он повернул в Большую Морскую.

У ресторана Кюба он заметил господина в путевой форме, выходявшего с какой-то дамой из подъезда ресторана со стороны Кирпичного переулка, и быстро очутился возле инженера. При свете фонаря он разглядел веселое, жизнерадостное молодое еще лицо с седоватыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки. Инженер оживленно и громко что-то говорил даме под густой вуалью.

– Господин инженер, – проговорил почти на ухо «граф» своим сипловатым баском, – не откажите после устриц одолжить монетку на скромный обед... Премного обяжете...

Инженер, действительно только что евший с своей дамой устрицы, как-то торопливо полез в жилетный карман, взглядывая несколько сконфуженными, ласковыми и наблюдательными глазами на странного господина, и, смеясь, спросил:

– А вы разве не одобряете устриц и тех людей, которые их едят?

– Устрицы весьма одобряю, особенно с хорошим шабли или с максотеном сес, заедая стильтоном или рокфором... ⁵ Благодарю вас! – прибавил «граф», получая, к крайнему изумлению, не монетку, а бумажку и слегка приподнимая шляпу.

– Не за что... Эй, Иван... подавай! – крикнул инженер лихачу извозчику.

– Виноват... – вдруг заговорил «граф», снова подходя к инженеру. – Вы, разумеется, ошиблись.

– В чем?

– Это не канарейка, а синенькая... ⁶ Возьмите назад, чтоб после не раскаиваться! – иронически вымолвил «граф», протягивая инженеру бумажку.

– Я не ошибся... Я и хотел одолжить вам именно пять рублей! – необыкновенно мягко и ласково отвечал инженер, не без удивления поглядывая на этого странного субъекта.

– Не ошиблись? В таком случае я кладу деньги в карман и позволю себе заметить, что вы представляете собою редкий пример легкомыслия и расточительности по нынешним временам... Первый раз в течение моей практики я делаю такой громадный заем на улице... Удивительно!.. Всего хорошего... Всяких успехов...

– Вы, однако, большой оригинал! – заметил инженер, заинтересованный «графом».

– Ника, едем! – торопила дама.

– До свидания! – крикнул инженер...

– Мое почтение!

«Граф» приподнял шляпу и несколько мгновений смотрел вслед удаляющемуся экипажу удивленными глазами.

– Верно, очень счастлив сегодня! – прошептал он, трогаясь с места.

Ввиду такого неожиданного благополучия «граф» считал вправе позволить себе редкую роскошь – пообедать как следует, в трактире, а не в закусочной, и даже выпить полбутылки крымского бордо. Давно уж он не пил вина!

И он направился в один из маленьких ресторанов на Гороховой, предвкушая удовольствие полакомиться вкусными блюдами и глотая слюнки при мысли о нескольких рюмках водки перед аппетитной закуской. Куда ни шло, он кутнет рубля на полтора.

Спасибо легкомысленному инженеру!

⁵ ...с хорошим шабли или с максотеном сес, заедая стильтоном или рокфором... – Шабли, максотен – сорта французских вин; стильтон, рокфор – острые, пахучие сыры.

⁶ ...не канарейка, а синенькая... – бумажные деньги: канарейка – бумажка рублевого достоинства, называлась так по своему желтому цвету; синенькая – пять рублей.

IX

Его превосходительство Константин Иванович Опольев уже сидел за письменным столом в своем большом внушительном кабинете, убранном в строго солидном стиле, гладко выбритый, свежий и хорошо сохранившийся, несмотря на свои пятьдесят два года и многочисленные занятия, в щегольски сшитом утреннем костюме, и прилежно занимался, обложенный делами в синих папках, с большим красным карандашом в красивой холеной руке с большими крепкими ногтями, – когда в дверях кабинета показался в это утро его камердинер Егор с письмом на маленьком серебряном подносе в руках.

Неслышно ступая в своих мягких башмаках, Егор приблизился к столу и положил на край его письмо «графа».

Опольев поднял лицо, красивое, смуглое, серьезное лицо, окаймленное такими же вьющимися и заседевшими черными волосами, как у младшего брата, с большими темными глазами, над которыми красивыми дугами темнели густые брови, сходящиеся у переносицы.

– Письмо вашему превосходительству!

– Хорошо! – промолвил Опольев низковатым приятным голосом и, взяв в руки письмо, не спеша и аккуратно взрезал конверт ножом слоновой кости.

Брезгливая улыбка слегка искривила его губы, когда он читал письмо брата. Он отложил письмо, пожал плечами и снова принялся за работу.

Однако минуту спустя его превосходительство подавил пуговку электрического звонка и, когда явился Егор, спросил:

– Кто принес это письмо?

– Не могу знать. Швейцар подал.

– Узнайте.

Егор скоро вернулся и доложил, что письмо подал какой-то очень скверно одетый господин и...

Камердинер, видимо, затруднялся продолжать.

– И что же?..

– Он назвался...

– Ну, говорите же, кем он назвался? – нетерпеливо допрашивал Опольев.

– Дальним родственником вашего превосходительства, – словно бы извиняясь, что обязан передать такое неправдоподобное известие, проговорил Егор и даже позволил себе улыбнуться.

«По крайней мере имел стыд не назваться братом!» – облегченно подумал его превосходительство.

И сказал:

– Позовите сюда швейцара.

Когда швейцар явился, Опольев тихим, ровным и спокойным тоном, каким всегда говорил с прислугой, произнес:

– Если господин, который принес утром письмо, придет еще когда-нибудь, не принимайте от него писем и никогда не пускайте его. Поняли?

– Понял, ваше превосходительство.

– Можете идти.

Швейцар повернулся почти по-военному и исчез.

Его превосходительство вновь принялся за работу.

Часа через полтора он поднялся с кресла, слегка перегнулся, расправил свою уставшую спину и, взяв со стола письмо, легкой, молодцеватой походкой, чуть-чуть перекачиваясь, прошел через ряд комнат в столовую.

Там за чайным столом сидела жена Опольева, полноватая, довольно красивая еще блондинка, в кольцах на пухлых белых руках, с пышным бюстом и туго перетянутой тальей, и молоденькая девушка в черном шерстяном платье, свежая худенькая брюнетка с одним из тех лиц, которые не столько красивы, сколько привлекательны. Особенно привлекательны были эти большие темно-серые глаза, опущенные длинными ресницами, ясные, детски-доверчивые и в то же время будто пугливые.

– Здравствуй, Anette! Здравствуй, Ниночка! – приветствовал своих Опольев.

И его серьезное, строгое лицо прояснилось ласковой улыбкой, и ровный, несколько монотонный голос его зазвучал мягкими звуками.

Он поцеловал благоухающую руку жены, горячо поцеловал дочь и присел к столу.

– Ну что, хороша была вчера опера? Тебе понравилась, Нина?

– Очень, папа.

– Музыка или певцы?

– Музыка...

– И я вчера хотел попасть в театр, да заседание комиссии затянулось... На вот, прочитай-ка это письмо, Anette, – вдруг, хмурясь, проговорил Опольев, передавая письмо жене...

– А все-таки жаль! – слегка певучим голосом протянула жена, окончив чтение письма.

– А мне нисколько не жаль! – резко и докторально ответил Опольев, видимо недовольный мнением жены. – Совсем не жаль! Человек, который дошел до положения скота, нисколько не заслуживает моего сожаления, хотя бы он был и близкий мой родственник. Нисколько! И я не понимаю этих уз крови, совсем не понимаю и не чувствую их. Коль скоро человек опозорил и себя и всю семью так, как вот этот господин (его превосходительство указал пальцем на письмо, лежавшее около Анны Павловны), то нечего и рассчитывать на какие-то узы... Мне не денег жаль... какие-нибудь двадцать рублей не беда бросить... но принцип... понимаешь ли, принцип...

– Но, послушай... ведь он обращается к тебе в первый раз после того, как ты – помнишь – так круто отнесся к нему... И, наконец, ведь он не для себя, а для какого-то мальчика...

– Ты веришь... этому мальчику? – засмеялся тихим жестким смехом Опольев. – Ну, милая, ты довольно легковерна... Ему на пьянство надо, вот для чего... Помилуй, человек неглупый, который после своего падения мог бы как-нибудь устроиться... жить честным трудом... работать, как все мы работаем, дошел до того, что по вечерам останавливает прохожих и просит подаяния...

– Неужели это правда?.. Мне говорила Marie, но я не поверила...

– К сожалению, правда... И ты хочешь, чтоб я таким помогал?.. Да я готов помочь всякому чужому, но сколько-нибудь порядочному человеку, но только не этому пропойце... Никогда! Дай ему раз, он повадится... Эти люди наглы и лживы... Покойный батюшка недаром его проклял – а отец был твердых правил человек! И я не хочу его знать... Черт с ним... Пусть пропадает... Такие люди не нужны обществу...

– Он сам приходил? – спросила жена, восхищенная убедительными, красноречивыми словами мужа и его умом.

– Вообрази... имел наглость прийти сам... Еще слава богу пощадил... назвался только дальним родственником... Я приказал швейцару никогда больше его не пускать и не принимать никаких писем! – заключил Опольев...

Молодая девушка, слышавшая что-то смутно о «погибшем дяде», внимала жестоким словам любимого отца с каким-то невольным чувством сомнения и, вся притихшая, как-то пугливо взглядывала на него.

– Ну, однако, мне пора в министерство... До свидания, милые! – промолвил Опольев и, сделав прощальный жест, вышел...

– Мама! Позволь мне прочитать это письмо... Можно?

Мать передала молодой девушке письмо.

Та прочитала его и сказала:

– Мама! Папа ошибается... Так не пишут обманщики. Дядя наверное просит не для себя, а для мальчика... Грешно не помочь! – прибавила девушка, и лицо ее подернулось тихой грустью.

– Ты слышала, что папа говорил?

– Слышала... А все-таки папа не прав... Необходимо помочь! – решительно произнесла девушка. – И дяде и мальчику...

– Отец всегда прав! – строго проговорила мать.

Наступило молчание.

Х

Только благодаря сознанию важности принятых на себя обязанностей «граф» в этот вечер обнаружил воистину героическую силу характера, ограничившись всего пятью рюмками водки и полубутылкой красного вина.

Давно уж он не ел такого вкусного обеда, напомнившего ему лакомые блюда былых времен, давно уж не позволял себе такой роскоши, как вино. И он ел с аппетитом проголодавшегося человека, соблюдая, однако, вид джентльмена, имеющего обыкновение обедать более или менее хорошо каждый день.

«Граф» несколько оживился, покончив обед. Глаза его слегка блестели пьяным блеском. Он чувствовал потребность завершить обед маленькой чашкой кофе и, разумеется, с рюмкой коньяку.

Одну только рюмочку... всего одну!

Но в тот самый момент, когда «граф» величественным жестом руки подозвал лакея, чтобы отдать соответствующее приказание, в голове его, весьма кстати, пронеслась мысль об Антошке, и вслед за тем он вспомнил, что коньяк, особенно недурной, может увлечь его далеко за пределы благоразумия и бюджета и значительно отдалить время возвращения домой... За одной рюмкой любимого им напитка может последовать другая, третья, четвертая, и тогда... что будет тогда с Антошкиными деньгами и где он сам проведет ночь?

– Что прикажете? – довольно небрежно осведомился лакей, точно сконфуженный, что ему пришлось служить такому подозрительному господину.

Душевная борьба, видимо, еще не кончилась, потому что «граф» не сразу отвечал, что ему угодно.

Еще секунда, другая, и он решительно спросил:

– Что с меня следует?

– Рубль шестьдесят пять копеек.

– Сдачи не надо! – небрежно кинул «граф», подавая два рубля; и торопливо вышел из ресторана, словно бы боялся, что решение его может внезапно измениться.

Вернулся он домой чуть-чуть захмелевший, но совершенно твердый на ногах. Он был возбужденно весел и доволен собой, как человек, избежавший серьезной опасности.

– Ну вот и я, Антошка! Здравствуй, брат! – весело проговорил «граф», входя в комнату и выкладывая на стол несколько свертков, многочисленность которых несколько удивила обрадованного появлением «графа» Антошку.

– Зазябли, граф?..

– Нисколько... ничуть... Чувствую, брат, себя превосходно... Теперь мы с тобой обеспечены на неделю чаем и сахаром! – сказал «граф», похлопывая рукой по двум сверткам. – Четверть фунта чая и пять фунтов сахара!.. А вот тут кое-что и для тебя есть, Антошка! – ласково подмигнул «граф». – Останешься доволен.

Он снял шляпу, снял пальто, бережно повесил на гвоздь и потрепал Антошку по щеке.

– Верно, сегодня хорошо работали с письмами, граф? – спросил Антошка с участием.

– Недурно работал, как ты выражаешься, – засмеялся «граф». – И с письмами, и так... благодаря ораторскому искусству... А ты, пожалуй, правильное смотришь на вещи, называя это работой. Собственно говоря, такое занятие – очень неприятная и тяжелая работа, хотя люди и называют нас нищими бездельниками! Пусть-ка его превосходительство, мой братец, попробует такой работы... Ха-ха-ха!.. Да, сегодня я недурно работал, Антошка... Однако не так хорошо, как надеялся...

– Не на все письма был ответ?

– Ты сообразительный мальчик. Именно не на все... Но все-таки для начала твоей экипировки кое-что получено... Можно тебе и несколько белья сделать, и сапоги купить, и даже приобрести у татарина какую-нибудь принадлежность костюма. Например, жакетку или панталоны, что ли... Сразу, брат, полное благополучие не достигается... Нет! Но ты этим не смущайся... Я тебе весь костюм сделаю и полушубок куплю! Непременно и в скором времени! – уверенно повторил «граф», ласково глядя на Антошку. – А пока вот попробуй-ка эту штучку, – прибавил «граф», вынимая из одного из пакетов красную пастилку.

Антошка решительно был подавлен такою заботой об его костюме и таким вниманием. Эта заботливость трогала и смущала его тем более, что пальто самого «графа», по мнению Антошки, не должно было в достаточной степени защищать от холода.

Он быстро проглотил вкусную «штучку» и молчал, не находя слов для изъявления благодарности, и в то же время недоумевал, как это «граф» может так хорошо «работать», чтобы с такою уверенностью говорить о полушубке, и почему он до сих пор не позаботился о собственном пальто. Это, казалось ему, было непростительной ошибкой с его стороны.

– Мне вовсе не надо полушубка. Зачем мне полушубок, ежели вы не будете посылать меня на работу? – вымолвил, наконец, Антошка. – Мне никакого даже костюма не надо... Здесь тепло... Вот вам, граф, ежели, например, к пальто да теплый воротник...

– Обо мне не беспокойся, добрый мой мальчик, – возразил «граф», тронутый такою деликатностью Антошки. – Я знаю секрет, как согреться, если очень холодно...

– И я знаю, граф.

– Ты? Какой же твой секрет?

– Я пробовал. Бывало, заколешь от холода, выпьешь шкалик, и будто теплее...

– Никогда больше не пробуй, Антошка! – строго и торжественно сказал «граф» и прибавил: – Ах, бедный, бедный! Такой маленький и уж согревался водкой!

– Никак нельзя было по нашей работе иной раз не выпить, – оправдывался Антошка. – И меньше меня мальчики пили...

– Теперь у тебя такой работы не будет... слышишь? И ты дай мне слово, что никогда больше не прикоснешься к водке, чтоб не огорчить меня... Дашь?

– Убей меня бог, если я прикоснусь! – горячо воскликнул Антошка и перекрестился. – Да я и не люблю ее. Только горло дерет...

– То-то... Нечего и любить, подлую! – как-то грустно и значительно протянул «граф».

Он стал раздеваться и, облачившись в халат, присел к столу и спросил:

– Ну рассказывай, Антошка, что ты без меня делал? Скучно было?

Антошка не без некоторой гордости объявил, что он не сидел сложа руки. Утром прибрал комнату, вытопил печь, потом помогал кое в чем Анисье Ивановне и вот теперь занялся книжкой.

– Ай да молодчина, Антошка! Хвалю, что не сидел в праздности. Праздность – мать всех пороков... Не слыхал об этом?... Ну, а теперь скажи: есть хочешь?

– Нет, я сыт. Только что ужинал. Анисья Ивановна дала мне горячих щей и мяса... Претличные!

– А я тебе ветчины принес... Ну все равно, завтра поешь... И документ твой принес...

– Получили? – воскликнул Антошка.

– Получил.

– И видели их?

– И видел. Ведьма-то твоя с подвязанной щекой ходит, – ловко ты, брат, ее ошпарил! – а дяденька прихрамывает! – присочинил «граф», желая доставить Антошке удовольствие. – Бумага твоя здесь, у меня. Припугнул я этого мерзавца... Теперь ты, Антошка, вольный российский гражданин... Дяденьки не бойся... Он ничего не смеет тебе сделать... Тю-тю твой дяденька! И вовсе он тебе не дяденька и никогда им не был... То-то... Ну, а теперь будем чай

пить и беседовать... А чай будем пить с вареньем... Любишь варенье?.. И калачи есть... Ставка скорей самовар... Умеешь?

– Еще бы не уметь! – весело отвечал Антошка.

– Да попроси ко мне Анисью Ивановну...

Бесконечно обрадованный, что ненавистный «дяденька» теперь не смеет взять его к себе, Антошка со всех ног полетел на кухню и, передав Анисье Ивановне приглашение «графа», принялся ставить самовар с каким-то ожесточением усердия.

Ах, как было радостно и светло теперь на душе у Антошки, и как казалось ему лучезарно будущее!.. А главное, как хотелось ему отблагодарить «графа», к которому он чувствовал такую горячую любовь, что готов был для «графа» на все...

«Хотя бы еще такую порку выдержать, как третьего дня!» – мысленно решил Антошка, придумывая, как бы он мог доказать свою преданность...

И пока он раздувал уголья, в голове его бродили, сменяясь одна другой, самые смелые мечты о том, как он потом купит «графу» шубу и наймет ему комнату побольше... Как он избавит его от работы, которая ему почему-то кажется тяжелой и неприятной, хотя казалось ему, что особенно неприятного нет – писать письма и получать в ответ деньги. И не особенно тяжело, если только тепло одеться, попросить на улице у хорошо одетых людей... Что им стоит дать пятак?.. По крайней мере, когда он работал в нищенках, он нисколько не стеснялся... но «граф» не хочет, чтобы Антошка так работал, и Антошка, конечно, не будет... «Граф» худу не научит. Только бы поскорей ему научиться читать и писать, а там он найдет место... Он поступит в приказчики в лавку. Чего лучше? А то сделается газетчиком... тоже недурно... Во всяком случае, он позаботится о добром «графе». И Анисья Ивановна пусть вместе живет... И Нютка тоже... То-то будет отлично!

И Антошка находился в таком альтруистическом настроении, что в своих ребячьих мечтах ни разу не вспомнил ни о «дяденьке», ни о «ведьме» и в данную минуту далек был от мысли засадить первого в острог, а вторую бросить под конку.

XI

«Граф» усадил Анисью Ивановну на стул и, предложив ей полакомиться пастилой, советовался с ней насчет того, что можно сделать для Антошки на семь рублей.

Анисья Ивановна приняла живое участие в этом деле и кстати похвалила мальчика. Сегодня он сам вызвался ей помогать и делал все со старанием. Она предложила свои услуги по части белья. На два рубля она купит холста и сошьет ему по паре рубаш, исподних и подверток.

– А за два рубля, Александр Иванович, можно купить в рынке сапоги, а на три – целый костюм для мальчика. Вот и обули и одели...

– Вы говорите: можно? Отлично! Только за глаза трудно покупать... Идти-то ему не в чем.

Но и это затруднение было улажено. Анисья Ивановна обещала попросить у дворника пальтецо и сапоги его сынишки. Он одного роста с Антошкой.

«Граф» горячо благодарил хозяйку. Отдавая ей два рубля, он передал ей еще полтинник, чтоб покончить маленькие счета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.